
Маргарита ПАЛЬШИНА

БЕЛЫЙ КРИК, КРАСНАЯ ПЕСНЯ

Повесть

Белым криком немела картина, заключенная в раму окна. В позе, сломленной ожиданием, Анна смотрела на ледяное Онежское озеро. Снег валил третьи сутки, равняя небо с землей. Чуть свет соседи собирались откапывать дверь их крайней избы, а к сизым сумеркам опять заметало все тропки в деревне. Обещали: зима 1914-го будет лютой, и рубили сучья с дерев, и клеймили кору крестами¹. Ветер бился в окно, скулил в трубе. Удары молота по наковальне, казалось, вгоняют в мерзлую землю новый кладбищенский крест.

«Анька-то, жена кузнеца, не переживет эту зиму», — шептали соседи, когда, еще осенью, не смогла открыть амбарный сундук. Бабы в деревне пекли ячменный хлеб и калитки, пряча счастье свое под тяжелой железной кровлей². Сундук был проверкой на стойкость. Взялась, потянула — крышка не дрогнула, только вздулись и налились иссохшие русла вен на запястьях.

А кузнец ей купил пианино, подержанное, осипшее на две белых клавиши. Анна смирилась с заменой их черными. Вальсы Штрауса закружились с метелью, зазвучали из невозможного прошлого постаревшими голосами двorcов Петербурга.

Скрипнул снег под санями — и снова к окну. И снова — не он. Это по онежской зимней дороге к кузнецу зачастили губернские гости. Во дворе на ветру простонала калитка, да в сенях от мороза половицы трещат. Он вернется, придет за ней? Равнина темнела к ночи, безмолвствуя. Купола деревянных церквей напомнили остовы кораблей. Беспредельность ледяной пустыни по смыслу равна безысходности.

Ночью же, отогревшись во сне, в животе шевельнулась зверушка. Не она бы, и Анна не ворочалась на печи с боку на бок — на краю земли, как изгнанница севера,

Маргарита Николаевна Пальшина — писатель, сценарист, поэт, член Международной гильдии писателей (МГП), Союза писателей XXI века, Российского Союза писателей (РСП), лауреат международного конкурса «Золотая строфа», Всероссийского конкурса «КИНО—Хит», Национальной литературной премии «Золотое перо Руси», Международного конкурса «Русский STIL». Работала копирайтером в международных сетевых и российских рекламных агентствах, внештатным автором туристических и глянцевого журналов. Более десяти лет работает в рекламном бизнесе и журналистике. Проза и стихи опубликованы в литературных журналах: «Новый берег», «Белый ворон», «Сетевая словесность», «Зарубежные задворки», «Пролог», «Млечный Путь», «Контрабанда», «Поэтоград» и других.

¹ В Заонежье (Карелии, Скандинавии) существовала традиция вырезать (вытесывать) кресты на коре деревьев и обрубать сучья — в память об умерших и как оберег от новых напастей.

² Карельское название ячменя — *ozta*, что созвучно слову *oza* — счастье. Калитки — национальные пироги из ржаной муки с ячменной или пшенной начинкой, хлеб в Карелии также выпекался преимущественно из ячменной муки.

ссылная в Заонежье. В Петербурге ее бы давно уж простили. Но зверушка толкалась, скреблась изнутри.

«Мы с тобой должны выжить. Мы остались одни», — прошептала ей Анна.

* * *

Анна помнила: многолюдным был дом ее детства. Собирались все к ужину, после играли в шарады, живые картины. Младшенькая, Татьяна, любила загадывать птиц. Перекраивали маминую юности платья, перья от шляпок в крылья влетали. И летали по сцене гостиной, и кружились, как на балах. Анне весной исполнится десять, Тане — восемь. Долгожданного брата мама носила под сердцем — тоже родится весенним. Осенью той торопили весну.

— Вы не находите, поутру будто пахнет апрелем?

— Иней тает на палой листве. Запах терпкий и прелый.

— Мне капелью вчера почудился дождь.

— Вот наваждение! Октябрь на дворе.

Мечтали и ждали солнечных дней. Примеряли весны обещания, как бальные платья. Сестренки готовили к *petit-jeux*³. Легкие роли — заучи наизусть и будь счастлива. Игрушечные золоченые клетки салонов, где щебечут довольные птички. Изображали не жертв, не героев, персонажи спектаклей лучились, как смех. В сказ темных ветров на просторах трагедий не верил никто. Далекое не пугает: если и сбудется, то с кем-то другим.

— Все под Богом ходим, — предостерегала их маменька.

Но молились светло. К ночи расходились по спальням, свечки к груди прижимая. Анна чуть ниже держала свечу, верила: солнечное сплетение — место, где обитает душа. Когда переживаешь о чем-то или волнуешься сильно, болит и трепещет именно там.

«Мирен сон и безмятежен даруй...»⁴ Может, молитва моя не нужна? Свет проникает в меня, понимает без слов?

— Ты все ярче сияешь, — улыбался отец, — храни тебя Бог.

Анна чувствовала: космос рос у нее внутри, словно носила в себе живое дыхание неба. С первыми заморозками и вовсе сон потеряла, смотрела на звезды и думала: там живет Бог. Днем солнце на всех, ночью всякий молится о себе. Почему звезд так много? Неужели каждой свечке, зажженной в часы вечерних молитв, звезда предназначена? Неужели Бог видит нас всех? Входит в темную комнату неба и смотрит оттуда на наши земные свечи. Что же станет с нами, когда ему надоест?

Ничто настигает внезапно. Так осенняя ночь пожирает день, и город беспомощно шурится лампадами окон.

Ночью черное солнце приснилось. Проснулась, как от удара. Порттик обрушился осколками камня. Голубь присел — и сорвался напрямик под колеса запоздалой пролетки. Как же так, птица пала, а должна бы взлететь?

Анна выбежала на улицу босиком и в исподнем. Голубь бился еще, мостовая межбулыжными ртами пила его кровь. Кровь дымилась и в свете газовых фонарей мерещилась голубой. Анна дрожала над ним на ветру и плакала. Небо изморосью оседало на горящие щеки. И казалось, утекло много дней прежде, чем выбежали вслед за ней домашние голоса.

— Дурной знак! — мама скрестила руки на животе.

³ Светские игры (*фр.*).

⁴ Слова молитвы святого Иоанна Златоуста на сон грядущий.

— Пропаший, лучше бы кошка съела, — сестренка не плакала.
— В дом ступайте! Кто ж по улицам бегаёт в неглиже? — плед накинул на плечи отец.

Но согреться Анна уже не могла. Космос лопнул, как тщедушное тельце. Птичьи перья и потроха схоронила в земле у оградки во внутреннем дворе.

Зимой хоронили братишку — уже за оградкой. И кладбищенская земля ледене-ла в руках. Не отпевали. Оплакали восковыми слезами свечей поминальных.

— Голубок мой! Вылетел раньше срока...

Ветер дунул в окно. Погасла свеча. И тяжелым занавесом на дом тишина опусти-лась. Сон в руку. Живые фигуры изображали? Богу стало тошно смотреть — он от-вернулся. Мы ничтожно малы перед Господом: не птицы, а насекомые. Ничто — му-хобойка. Хлоп! — и кончились игры. Недоглядел наблюдатель сторонний, позволил невинную душу забрать. Или хуже: сам промахнулся.

Так зачем же стараться? Ты одна на дороге. Бог не хранит. И времени маховик уже завертелся, как колеса пролетки, застучал по расхлябанной улице жизни, разго-нясь на поворотах. Чем дальше, тем настойчивей будет стучать. Звук, который, услы-шав раз, не сможешь потом ни унять, ни перекричать.

Голос времени, глухого к мольбам и немного к вопросам. Равнодушный, необратимый.

* * *

Бывает, время застывает и замуровывает людей заживо в своей капсуле. Но и за-ключенным приходят письма.

Пригласительное письмо отправителю не возвращают.

«В Летнем саду состоится карнавал Белых ночей», — и Петербург закружило в танце. Кружил тополинный пух в аллеях, сверкая на солнце, как новогодний снег. Кружили кареты, пролетки вокруг магазинов мод и галантерей. Светские «Вестники» тут и там мелькали в руках веерами, страницы с нарядами бумажными голубями перелетали из гостиной в гостиную.

Анна смотрела на тополинный снег. Это время кружилось в воздухе и медлен-но оседало на подоконник. Анна ждала от портнихи коробку с первым своим баль-ным платьем, мечтала крышку открыть — и себя белоснежной и нежной. Новой. Другой. Бестелесной.

Призрачный город за окнами утратил тени и очертания: днями мела солнечная метель, а после заката ночь распускалась над городом белым цветком.

В окне дома напротив не спала соседка. Одинокая, как луна. Воплотившееся ожи-дание на берегу предраассветного неба. Постаревшая Сольвейг в капоте, чья жизнь — обреченное снеготаяние.

— Помни, Анна, репутация женщины — как зеркало: чуть подыши, и мутнеет. Манеры — плод благородной души, проявление добродетели. На нимфах⁵ не женят-ся. Один проступок — и свет закроет пред вами все двери.

Да, нужно вести себя хорошо, чтобы Богу не стало тошно. Он с иконы строго взир-рал, как теснили друг друга с сестренкой у зеркала, каблучками туфелек дырявили пол.

— На балу нельзя в зеркала смотреться. Перед кавалерами опускать глаза, — на-ставляла их маменька. — Скромность и простота. Нельзя выделяться! Быть со всеми, как все...

Как же хочется быть единственной! Анна, Анечка, кружева и ленточки, аромат гиацинтов, фиалок, волнующее прикосновение взглядов, фраки, маски, мундиры,

⁵ Нимфа — здесь олицетворение естества, дикости, природы.

кисейные шлейфы платьев, хрустальные голоса фонтанов, скрипки, гобои, литавры, паруса беседок, колонны, белеющие в ночи, как свечи, вальсы, кадрили, белоплечие дамы и статуи, сияние, трепет... Атласная книжка в руках наполняется незначимыми именами. Необычайная легкость. Головокружение. Словно в лодке плывешь по опрокинутому в пруд небу. Водовороты, подводные течения. И глаза в разрезах масок — как просверки звезд сквозь кобальтовые облака.

Руку вкладывая в мужские ладони, Анна чувствовала: каждая девушка на балу собирается из разноцветных и хрупких стекол, как витражи. Каждый кавалер воспринимает ее по-своему и влюбляется тоже по-своему. Все мимолетно, случайно. Для каждого из них я — другая, отличная от самой себя, как фигуры кадрилей, как ленточки в волосах, кружева на платьях. Мельтешение образов, ощущений. Словно небо в пруду разбивается на тысячу мелких осколков, рябь на глади бального зеркала. Таков маскарад. Партнеры в танце меняются, отражения пар дробятся, множатся до бесконечности.

Девушки перед началом очередного танца выстраиваются в ряд, одинаковые и разноцветные, как гиацинты. Если долго стоят, начинают таять, опускаются горестно плечи и оплывают, как воск, кружева на платьях. Даже оборванный шлейф не трагедия по сравнению с ожиданием приглашения.

Анна двух кавалеров записала на одну кадриль. Боже, какой скандал! А вдруг кто-то из них позабудет о ней, передумает? Отец тоже любит их с Таней поровну — одинаково. Ни одна из нас не уникальна, мы в круговерти этого бала — как в запад-не зазеркалья.

Как же хочется выйти на берег! Чтобы подали руку и рука бы была — как земная твердь. И лицо — живое! Теплая кожа щеки слилась бы с моей навек вместо сотен ласк и прикосновений обманчивого бархата масок.

Если в тебя кто-то влюбится, по-настоящему, для него ты будешь единственной. С ним ты *будешь*. В этом — освобождение из кружения зазеркалья. И пока он рядом, не умрешь, не исчезнешь, дробясь в отражениях.

Над головами кружится-кружится тополиный снег... Чтоб отменить снеготаяние, нужно в случайном искать неслучайное. И себя в нем найти, уберечь свое время.

* * *

Время коротко. Зимний день отчаянно к ночи стремится. В Заонежье метель правит балом. За окошком избы в снежной пляске кружатся субтильные воспоминания в беспощадных объятиях кавалеров грядущего. И замирают между землей и небом средь души зеркального зала.

Ячменя у Анны осталось на дне сундука. Зима в прошлый век⁶ затворяет калитку...

Всё случилось в фамильной усадьбе.

Зацветала вода в реке, лето зрело, багровели закаты. И томление в воздухе предвещало грозу.

Душными вечерами пили чай на веранде. Мотыльки ночные били в золотые колокола абажуров. Свет метался от дяди к отцу. Они спорили, порой за полночь.

— Манифест⁷ — это трусость, — распалялся отец. — На переправе коней не меняют. Нужно было и дальше огнем и мечом. Чернь восстала. Распустили державу!

⁶ Историки склонны видеть 1913 год неким не календарным, а историческим порогом между двумя веками. XX век наступает с началом Первой мировой войны.

⁷ Обсуждаются события Кровавого воскресенья и начало революции 1905 года, Высочайший Манифест об усовершенствовании государственного порядка от 17 октября 1905 года.

— Он — снотворное для больного, скоро всё вернется на круги своя, — рассудительно возражал ему дядя.

— Мир утратил веру в царя! Веру черпают в благоговении, в страхе. Православный дух укрепляют победы. Бог на иконе, Царь на троне. России нужна война!

— И чего вы кричите? Вас-то точно не призовут к оружию, офицер министерских заседаний, — оглаживал бороду дядя.

Отец осекался на полуслове, пустоту в кулаках сжимал над столом, как записки служебные в своем кабинете. Не отстреляться от правды словами.

— Ох, беда не ходит одна, — вздыхала мама, чай дымящийся подливая обоям. — В ту проклятую зиму голубочка нашего схоронили. И надежда на продолжение ваше с ним вместе в землю легла.

А сестрам на будущее гадала тетушка. Осторожно карты выкладывая на белоснежную кружевную скатерть. Червонный валет — амурные хлопоты, шестерка треф — поздняя дорога... и под сердцем — пиковый король!

— Анна, милая, что вы от нас утаили?

Ночь синела. Туманы с окрестных болот ползли по полям, по тропинке сада, оплели дом и веранду, влажную шаль накидывали на плечи.

Анна, передернув плечами:

— Может, врут? Погадайте еще раз.

— Нет, нельзя подряд. Карты устанут.

— А вы посидите!⁸ — советовала кузина Дашенька.

— И мне тоже два раза, — просила Татьяна. — Королей на всех кавалеров не хватит в колоде.

— Молодые забавы, — улыбалась лукаво им тетушка.

— Вот напасть, одни девки в роду, — ворчал между спорами с дядей отец.

— Зато не к войне.

Гадания да на лодке катания по реке — вот и все развлечения летом. Изводила скука. Снились балы, Петербург и веселые игры в гостиных.

— Что-то закисло мы все тут. Не посетить ли нам балаганчик? Говорят, в деревню на ярмарку приехали комедианты. Говорят, представления у них недурны, — предложил в тот злосчастный вечер им дядя.

Сейчас Анна вспомнила: сердце не екнуло, не отозвалось. Перед бурей всегда безветрие. Никаких предчувствий. И это знамение: слезы льют в тишине.

Взорвался отец:

— В балаганчик? Мы?!

— Развлечемся, худого не будет, — успокоила мама.

— Развлекаться бы только. Зритель и есть мерило искусства. Комедии — порождения века пустого. Одухотворенному времени нужны герои. А судьба героев трагична.

«Почему всех вокруг так восхищают страдания? — думала Анна. — Неужели радость пресна?»

Видно, радость их застоялась, как в вода в рукавах реки, превратилась в настоятку тоски.

Поутру северный ветер разогнал тяжелые облака. Над верандой в светлеющем небе острогогий месяц повис. Загадать на растущий?

— Предсказания наши сбываются! Кто-нибудь хочет проверить?

Комедианты высмеивали суеверия. Спектакль о чародеях кончился, но никто не хотел расходиться. И тогда волшебник на бис возник над толпой. В узких туфлях и колпаке с бубенцами похожий на шута. Глаза, подведенные угольно-черным, смеялись. Анна столкнулась с ним взглядом — и рванулась душа.

⁸ Старинный гадалый ритуал «посидеть» на картах, чтобы те «отдохнули и говорили правду».

У отца бывало такое же выражение лица, когда любовался закатами. «Внезапное поражение красотой», — шутила мама.

Шут-волшебник подал руку, помог Анне подняться на сцену. Легко впустил в свою жизнь. Вместе смотрели на зрителей с возвышения сцены, словно с другого берега. Театр — мистерия, игра времени и судьбы. А глаза под гримом — прозрачные, как ручей. Знают всё о ней: что было, что есть и что будет.

— Ты не спеши убегать. Мне хорошо с тобой рядом, — шепнул на ухо. И локон от дыхания взвился, затрепетал.

Вот оно: быть единственной!

В дворянских гостиных все друг к другу обращались на «вы». Анне чудилось, что за спиной кто-то прячется. Оборачивалась незаметно и видела воздуха пустоту, или стену, или свое отражение в зеркале. С годами множилось «вы» за плечами, призрачный рой личин.

Лицемерие — когда лица, как маски, подбирают под фраки и платья для балов, званых ужинов, игр. Каждый из нас играет. Разные роли от случая к случаю. Случаи непредсказуемы, мысли-чувства-поступки случайны.

В детстве мама с отцом говорили сестренкам прямо и ласково «ты», а потом они повзрослели, и начались приличия. На собеседника взглядывать мельком, беседу вести намеками, не выражать желания, не досказывать мысли... А главное — не понимать неприличного. Или делать вид, что не понимаешь того, что находится за пределами света, о чем умолчали в книжках «Правила светской жизни, хорошего тона и этикета».

Актер не играл шута, он смеялся.

— Шарлатан! — по рядам загудело.

— Маг... пророк! — крикнул кто-то в толпе. — У меня сбылось предсказание!

У пророков не спрашивают о происхождении. Они появились. Ниспосланы свыше.

— Просто Макар, — сказал о себе. И Анна в него поверила.

Неприличное «ты» сблизило двух героев на сцене, как в жизни людей сближает соприкосновение обнаженной кожей.

«Ты» вернуло Анну самой себе. Словно во сне потерялась в тумане — и нашлась, от яркого солнца утром проснувшись.

Вмиг почувствовала, что «радость» прорастает из корня «Рай». Льется лучами из сердца, жизнь наполняет до дна, до края, переполняет и уносит в необозримую, как земля, бесконечность.

* * *

— Человек ничтожен, если не сумел подняться над собой, — утверждал Макар.

Именно так они встретились и полюбили друг друга. Бродяга и помещичья дочка. У Анны — положение в обществе, где Макару нет места. Но в тот день — и всегда — он был выше нее. Любовь с первого взгляда: снизу вверх. Театральные подмостки возвышают актера над зрителями.

Занавес! — и миг восторга равняет всех: и простолюдин, и барин аплодируют самозабвенно.

— Смех побеждает.

Комедианты свободны в мыслях, чувствах, поступках, словах. Сцена безжалостна, зрителей разоблачает, как зеркало. Те же слова прошепчи в приличном обществе кому-нибудь на ухо и — попадешь под арест. А в театре все слепы. Люди не склонны в комедиях видеть пародии на себя: своих грехов не бывает, только чужие.

Дядя с отцом на веранде спорили о врагах Российской державы. Анна с Макаром в роще смеялись, как заговорщики. Понимание шутки объединяет. Понять — значит присвоить: чужой человек вдруг становится близким, своим.

— Смех сближает. Рассмеши — и тебя полюбят.

Жаркое солнце. Много смеха. Любви. И настоящих слов.

В столичных театрах ценились иносказательность действия, метафоричность фраз. Недостигаемость и непостижимость мира трагедий. Блистательные умы, чувствительные души! Понимали ли они то, что видят на сцене? Вместо ответа — непроницаемость глаз.

«Анна, нельзя лорнировать публику!» — попрекала маменька. А Макар вытаскивал людей за руку из зала на сцену...

— Раньше цари при дворе держали шутов. Только урод мог сказать им правду.

— Ты красавец! — заверяла его.

— Скоморохи не люди! Ни денег, ни происхождения, ни дома, ни семьи, ни обязанности, ни устоев! всю жизнь бродяжничают, а хоронят их за стеной кладбища! — возмущался отец.

Как братишку, вспомнила Анна. Его ждали, как божий дар. И не дождались. Но несчастных любишь сильнее.

Осенью той торопили весну...

Это лето помчалось вскачь. «Петербург изнывает от жары, — писали в газетах. — Каменные многоэтажные громады, каменные мостовые и такие же тротуары раскалены, воздух насыщен пылью, копотью и смрадом от загрязненных рек. Африканская жара под тридцать градусов для северной столицы нечто исключительное. По данным Николаевской физической обсерватории, подобной температуры в конце июня не наблюдалось тридцать лет, с 1882 года».

А в поместье грибы подоспели, ягоды зрели на цветущих кустах раньше срока. И запахло вдруг палыми листьями далекого октября.

Анна вновь услышала дыхание неба.

Затухали белые ночи, россыпь звезд подрагивала на куполе мироздания, как роса на гигантской ягоде ежевики. У небес горько-сладкий вкус. У Макара губы вымазаны ягодным соком.

— Люблю ежевику, растет вдоль дорог.

Встать на носочки, дотянуться и выпрыгнуть из себя! И сойти с ума ненадолго...

Губы его быстрые, бешеные.

— Как посмел прикоснуться?! Под домашний арест! — кричали на Анну мать и отец.

Анна скиталась по дому от окна к окну. словно свет был водой из колодца, а она в темных комнатах, как в пустыне, изнемогала от жажды.

Золоченные рамы зеркал и картин, бронзовые часы, канделябры, пузатые статуэтки фарфоровых ангелочков, графины и вазы из хрусталя — всё в доме, казалось, поглощает свет, лишает его сил и отражает уже искусственным блеском. Всё сверкает, в глазах темнеет. Так выглядит зазеркалье. Перевернутый, несправедливый мир!

— В белом платье с утра! Не стыдно? А если дядя зайдет?

Вот Макар ничего не стыдился. Одна рубашка на все времена дня и года. Пестрая, как крылья вульгарных бабочек.

— Есть бескрылые бабочки, — рассказал. — Лежат на листьях ежевичных кустов и ждут самцов, сами летать не способны. Тебя тоже замуж родители выдадут.

Выезды в свет, званые обеды в приличных домах, помолвка с тем, кого едва знаешь, свадьба, первый ребенок, книги расходов, Библия и приемы. Достойная мать и жена, все печали, тревоги, заботы вокруг детских болезней и немодного

цвета обоев в гостиной. Устаревшая пьеса. Мама ее играет, вскоре Анне придется. Вечная роль. Дочь родится, подрастет — и по кругу: обеды, балы, замужество, дети, домашние хлопоты. Круг замкнут.

— Если бы я могла родиться другой. Я б умела летать. Но от себя, как от земли, не оторвешься.

— Хочешь, покажу фокус? Нарисую круг и в центре поставлю точку, не отрывая руки от листка в твоём альбоме?

— Но это же невозможно! Как?

— Всё возможно. Загну и отогну уголок.

— Так нельзя!

— Кто сказал, что страница должна быть ровной? Если есть обратная сторона листка, почему бы ее не использовать?

Уголки разгибая в альбоме, Анна терзалась: в чем счастье? Исполнять то, что предписано ролью, не нарушая приличий границы? Жить по чужим правилам, а не по своей воле? Это вовсе не жить! Сперва обязательства, потом старость. Или выйти на сцену и тысячу жизней прожить, никому из нас не доступных?

Сцена — пространство, неподвластное времени. Перевоплощаясь от пьесы к пьесе, актер способен его обмануть. Дороги по городам и весям размыкают предопределенность пути.

— Ты тоже сможешь играть. Я тебя научу, — пообещал ей Макар.

В деревне тем временем готовились к ночи Ивана Купалы. Дни летнего солнцестояния ночью прервет солнцеворот. Будут песни петь и водить хороводы, прыгать через костры. В реку войдут, как в новую жизнь. Цветы в волосах, яркие ленты, сочные губы, загорелые руки. Будут смеяться и любить друг друга на берегу под раскидистыми кустами.

И Макар зажжет факел. Что ему помещичья дочка, когда начинаются...

— Ведьмины пляски! — называл летний праздник дядя.

Ведьмы обворожительны и обнажены. Куда Анне до них, перетянутой корсетом, как сноп сена? Еле шевелится и почти не дышит. Чучел таких ведьмы сжигали. Или бросали в реку. Она бы не выплыла.

— Богохульники! Ничего святого!

Языческий праздник Древней, дохристианской Руси. Сварог старше нашего Бога? Стало быть, и мудрее? И зачем на Руси понадобилась чужая, византийская, вера, если Сварог подарил людям Солнце Ра? Оно и есть радость и рай. Солнечный свет — главное на земле. Как мало все-таки в ее доме света!

Анна венок сплела и свечу приготовила. Если ее огонек затеряется в водовороте реки, не прибудет обратно к берегу...

Анна хотела Судьбу. И дорогу. Чтобы самой решать, кем, где и с кем ей отныне быть.

— Всё, что мы делаем, важно для нас самих. Несчастные жертвы никого своим положением не осчастливят, — говорил Макар.

Последняя короткая ночь в году. Как тихо в усадьбе! С утра домочадцы умылись росой на Иоанна Крестителя, сходили в церковь и сейчас спят спокойно, как невинные дети.

В раскрытое окно влетел ветер, принес Анне благоухание роши, запах реки. Весточку от любимого. Мимолетность цветущего мира! Осенью поседеют леса, а пока она ароматы цветения глотает, как сладкий, дурманящий сок ежевики.

Бессонная ночь. У реки, наверно, уже покатали с горы огненное колесо. Солнце на убыль.

Анна, не касаясь перил, паря над ступеньками лестницы, словно призрак в белой сорочке, спустилась вниз и замерла посреди гостиной. Любое движение — и скрип половиц сон потревожит в доме.

Время таяло в тишине.

Полнолуние. Стол преградил путь к окну и стоял, как прибитый намертво. На столе — хрустальный графин с водой, как награда за стойкость. Стол дубовый, графин тяжел.

«Устои», — вспомнилось Анне любимое слово отца. Дом устойчив, порядки неизблемы, предназначение женщины в нем неизбежно.

Лишь луна робкий свет в окно проливала. Свет искрился в хрустальном графине. Заключенный, как Анна за окнами дома.

Луна — безутешная Солнца жена. Никогда не увидит мужа. Лучше уж быть вдовой, чем так.

Макар — Солнце. Анна — Луна. И они не встретятся никогда.

В мире Анны всё ненастоящее, даже люди. Настоящими были роща, соловьи, ежевика, ветер, деревья, звезды, облака... И Макар. Он подарил ей жизнь, открыл все пути-дороги. И теперь она мечтает стать невидимкой, раствориться вдвоем в большом незнакомом городе, где никто их не будет искать. Самим творить судьбу. Создавать мир своими шагами. Разгибая его уголки, открывать каждый день что-то новое. Подняться над собой. Как на сцене, быть выше ведомых зрителей.

Освободиться!

В воде на дне графина барахтался лунный свет. Анна выпила воду, вызволила его из хрустальной темницы. И впустила в себя.

На рассвете луна пошлет восточку солнцу.

Без Макара жизнь ее будет утрачена.

* * *

Тропинка вела сквозь заросли ежевичных кустов к реке. Анна осторожно ступала, стараясь запомнить каждый свой шаг, каждый укол травинки или камешек под босой пяткой.

Бывают такие картинки бытия — наверняка увидишь еще раз, перед смертью.

Тишина предрассветная. Молчание утра. Венера сияет над горизонтом. Дым от костров ночи Купала стелется над рекой. Зачем-то взяла в руку головешку. Как факел.

— Я несу свет!

Издревле Венеру называли по имени Люцифер, носитель света. Падший ангел и богиня любви слились воедино в свете звезды.

Анна скинула с себя платье, развязала шнуровку корсета. В воду входила медленно. Илистое топкое дно, скользкие камни, тугие стебли рогоза — ведьмины посохи.

Сперва по щиколотку, держа у груди факел, как когда-то молитвенную свечу, опустила чуть ниже. Солнечное сплетение — место, где обитает душа. Так же щемило там, когда молчал потом зрительный зал за кулисами перед премьерой, наблюдая за нею незримо, как бог, как рассвет, затаивший дыхание ветра.

По бедра. И ласковые руки Макара, обучившего ее плавать. И лоно ее, истекающее нектаром не существующего в природе, чтобы сравняться своей красотой, цветка.

По пояс. Кровь и жгучая боль роженицы.

По грудь. Головешка, зашипев, потухла в воде. Будто сердце остановилось — и вдруг огненным колесом сорвалось с горы.

Поскользнулась на камне, и — дно ушло из-под ног. Провалилась в воду, как в пустоту. Захлебнулась вмиг. Беспомощно забарахталась к берегу.

Это вхождение в воду предсказало ее судьбу.

Факел в руке и вода в реке — война и жизнь, страсть и время. Поминальная свеча по той, что не станет прежней, и второе крещение.

— Тебе нужно выбрать новое имя для сцены.

«Анита», — напишут потом на московских афишах.

— Не зная жизни, не сможешь играть. Истина постигается через людей, их радости и печали, а люди — внутри тебя. Все: мужчины и женщины, старики и дети. Сочувствие, сопричастность стирают границы. Других отыщи в себе. И тогда в зрительном зале увидишь Бога. Одно лицо вместо враждебной многоликой толпы, готовой ошибаться. Бог не казнит. Он любит. Ты — его отражение.

Балаган называли «народным театром».

— Балаган — наша жизнь, — говорили. И жили на сцене: не притворялись, играя свои роли, а претворяли чужую жизнь. Творили глупцов, подлецов, влюбленных, героев... Зрители плакали. Или смеялись. Рукоплескали. Занавес опускался. А потом вызывали на бис.

Актеры жили в театре! Порой негде спать, кроме как в артистической гримерной.

Анна прилежно учила уроки. Бенефисы в провинции: роли без слов, с репликой на один выход, улыбки и реверансы на раусах. Всем внимала: деловитой лисице — антрепренеру, мрачному режиссеру, премьеру Борису, страдающему поочередно то бессонницей, то похмельем, актерам труппы, пересмеявшим свой голод, и приглашенным их сменщикам, забывчивой костюмерше-неряхе, зазывалам, билетчикам. Всем.

А Макар учил ее плавать. До конца августа, до первых осенних листьев.

— Не получится пловца из того, кто боится погружения в воду. С головой. Перед тем как учиться плавать, нужно выучиться нырять. Так и с ролью: не сыграешь, пока не уверуешь в то, что играешь на сцене, пока не нырнешь на самое дно души.

Чужая душа — потемки. Но сам для себя человек страшнее тьмы. Чем глубже себя узнаешь, тем больше боишься. Подчас Анна задавалась вопросами, которые никогда бы и в голову не пришли в родительском доме. На сцене чувствовала, что ответы, как клейма, горят на щеках. А есть ли у меня способности? Дар? Имею ли я право играть, быть на сцене?

— Ты — птичка из клетки. Многие месяцы канут, прежде чем запоешь, полетишь. Придется терпением запастись.

— Ах, оставь! Анна — украшение труппы. Красоток не сыщешь среди бедноты.

Рампа кружилась, сцена покачивалась, превращаясь в палубу корабля, зрительный зал — в речные стремнины. Вот-вот ее кораблик сядет на мель или разобьется о подводные камни в щепки. Ухо жадно ловило шепоты в первых рядах. Казнят или помилуют? Провинциальные сцены стали ее эшафотом. А до Москвы было еще далеко.

За одно лето не перевоплотиться из петербургской девочки в русскую женщину. Все равно что пытаться вобрать в себя сразу всю землю с ее лесами, полями, рассветами, реками, дорогами, городами и селами, небом, Луной и Венерой.

Утратить страх — главный навык жизни на сцене. Порой Анне это напоминало охоту: публика — быстрый и жестокий зверь, актеры в труппе — загонщики в шкурах, первобытно бесстрашные. Зверь может ранить, а то и убить.

Первобытные стихии земли оживали в труппе. Трагедийный актер и премьер — солнце или огонь в ночи; режиссер с распорядителями — камни и почва, основа их существования; себя и всех на вторых ролях причисляла к ручейкам и речным потокам, важнее ты или незаметнее, но течешь, куда скажут. А Макар был воздухом, свежим ветром, меткие стрелы шуток посылая в зал. Русский талант не бывает без юмора, русские пьесы — без смеха. Смеялись князья Н. и С. в глупых пародиях, в остроумных комедиях — Островский, Чехов, Толстой...

— Смех побеждает, — твердил непрестанно Макар.
Публику. Голод. Дороги. Судьбину.
Смейся и наполняйся радостью.
Бог так велел: Радуйтесь! Это лучшая мне благодарность, молитва и воздаяние.
Дети так радуются первому снегу. Лепят снеговиков во дворе, бегают по сугробам, играют в снежки и визжат от восторга. Беспечная радость.

Печь затопить было нечем, негде согреться, сырость в каморке. Не услышав баюкавшего по утрам, привычно сухого — осеннего — шороха листьев, Анна проснулась от тишины. На крышу театрала падал и падал снег. Будто оплакивал.

— Ночью умер Борис. От инфаркта.

Сердце премьера переполнилось и разорвалось. Трагедийные роли на сцене. А в жизни — убогая драма. Жена год назад потеряла рассудок, лечили ее в желтом доме. Не узнавала уже никого, но Борис верил встрече. Недоедал, только пил, чтоб забыться, деньги все отправлял на почтовых ей на лечение. В Петербург. В последний раз был у нее проездом — не узнала. Нет надежды, доктор сказал. Над детьми лучше бы родственникам опекунство оформить, и как можно скорей. Вы же странник-с, не в состоянии позаботиться.

Анна тогда поняла: нет ничего печальнее утреннего снега на желтых листьях. Снег в сентябре. Беспощадный диагноз природы, преждевременная кончина. Летние приключения сбылись у кого-то другого, а нам выпал трагичный финал.

Макар унаследовал факел Бориса. Но публика пригвоздила его к скале равнодушия, как Прометея, похитившего огонь у богов. Дерзнувшие быть счастливыми не достойны любви.

Провал следовал за провалом.

— Дайте время! Я ж с людьми огнем хочу поделиться! Искренность завоюет сердца.

— Чьи? Не сезон сейчас для гастролей. Все уезжают в столицу.

Анна гадала, как там дома, в Петербурге? Вспоминают ее? Нет, забыта. Прокляли вслед и сожгли слова прощальной записки. Некуда возвращаться. Только следовать за бродячим театром. Но она ни о чем не жалела и сейчас бы пошла за Макаром и в огонь и в воду, а тогда в начале пути...

— Мы поедem в Москву! — рассудил режиссер. — Там полно театральных огней и легче зимой прокормиться.

* * *

Когда упал занавес и начали гаснуть один за другим огни, Анна не верила в возвращение. Так бывает при пробуждении, на тонкой грани меж явью и сном: невозможно проснуться! Сказочная страна манит-зовет обратно. Жизнь расплывается перед глазами, а в голове звучит дивная музыка. Песня Сольвейг — золотая нить меж мирами, солнечный луч, проникший в темную комнату спящей из заперделья.

«Музыка Грига и декорации Рериха — главное содержание и сильнейшая прелесть спектакля, — позже читала Анна в газетах, — сценическое искусство отодвинулось на второй план, уступив первенство музыке и живописи...»

Пера Гюнта не спас тяжелый взгляд Леонидова⁹, не удержала пылкая Коонен, все говорили о красоте, а значит, о Сольвейг.

Солнечный свет пронизывает все вокруг, но остается невидимым и описаниям не подлежит. Призрак, разлитый повсюду, прикосновение грез.

⁹ Леонид Миронович Леонидов исполнял роль Пера Гюнта, Алиса Коонен — роль Анитры в первой постановке пьесы Генрика Ибсена в Московском художественном театре, 1912 год.

— Сольвейг не роль, а то, ради чего играют, выходят на сцену. Солнечный путь героя, очаг для блудного сына. Вечное возвращение.

Москва театральная! Фонари Камергерского напоминали подвесные домики о четырех углах, обиталища муз. Московский художественный театр недавно утратил приставку «общедоступный», но сохранил дух народный. Ставили жизненно, высказывались открыто, играли зрителей в зале, играли себя, ярко и остро писали о театре газеты.

Как отнеслись театралы Москвы к этой странной полусказочной постановке пьесы Генрика Ибсена в октябре 1912-го? Не триумф, пожимали плечами и напевали вполголоса песнь Сольвейг. Песнь печали и радости, потери и обретения.

Потрясением стала премьера для труппы Макара и Анны. Перевернула их балаган.

Осенью 1912-го маленькие театрики росли в Москве, как грибы. Театры-таба-керки сдавали подмостки внаем и приютили бродячую труппу. Костюмы раскрашивали в пурпур, лампы ставили вкруг, чтоб холщовая ткань при свете играла, как шелк или бархат. Пыль из занавеса выбивали, как из матрацев, штопали, как старую шаль. Бродяг тепло принимали. Анна вскоре привыкла к запаху краски и пыли кулис и к тому, что зрители аплодируют стоя. Мест не хватало на всех, стояли в проходах, присаживались на ступени. Застенчивых гимназисток суровые кавалеры брали к себе на колени. Но то был еще не успех. Любительские премьеры. Играли короткие пьесы по три спектакля за вечер по четным числам месяца. Поселились всей труппой в меблированных комнатах над харчевней на Кузнецком мосту.

А учиться бродяги ходили в большие театры. У настоящих актеров с ангажементам и именем на афишах. Анна искала в театрах парадную лестницу с красным ковром, как в провинции. Но кареты богачей подъезжали к отдельному входу, а дамы демонстрировали свои драгоценности в ложах. Разночинная чернь на галерке теснилась. Дерзкие юноши отбирали друг у друга театральные бинокль, разглядеть лебединую шею и белоснежные плечи очередной Прекрасной Елены с сомнительной репутацией.

Москва не Петербург, здесь не кичились происхождением, не соблюдали приличий. Мещанский город для смелых и предприимчивых. Здесь удовольствия и радости жизни доставались не по наследству, а за рубли. Вино текло рекой в кабаках на Кузнецком мосту, который был вовсе не мост, а пристань для заблудившихся в осенней стылой ночи. Лампады в форме чаш источали не масляный чад, а ароматы свободной любви. Безродные знатно блудили. Дамы, дыша на кавалеров вином, духами и туманами¹⁰, призывно откидывали вуаль, и глаза их сияли и оценивались в каратах, как вытребованные за ласку бриллианты. Танцевали, тесно прижавшись к своим благодетелям.

Анна видела в раскованных танцовщицах освобождение женщины. Смирненно скорбящая Богородица отвернулась к стене, а прекрасные дамы хохотали и любили мужчин, пригласивших не под венец, а на танец. Анна выучила новое модное слово: эмансипация.

— И после ЭТОГО я стану женщиной? — спросила Макара.

— Нет, — впервые серьезно ответил он. — Женщиной станешь после того, как поймешь, чего хочет мужчина, а не поймешь, останешься самкой человека.

Значит, я не смогу сыграть главную роль, мучилась Анна. Роли без слов, ночи без сна. Ощутить другого в себе? Как такое возможно, что чужие тела вдруг сливаются в одно существо?

¹⁰ Аллюзия на стихотворение «Незнакомка» Александра Блока.

А Макар дышал ровно, обнимая ее во сне. Что ему снится? Даже сны у них разные.

На потолке плясали всполохи пламени от свечи. Словно ведьмы дразнились, показывая ей свои влажные языки. У Анны же всякий раз пересыхало от страха не только в горле.

— Ты еще не готова. Крылья отращивать быстро не получается. Дай нам время. Всё случится само собой, — успокаивая, гладил ее Макар.

Нечетными вечерами он уходил куда-то. Анна знала: к другим, но не спрашивала ни о чем. Ждала безропотно. По меблированным комнатам блуждал его запах: горьковатый древесный аромат, полынный ветер. К полуночи таял в воздухе, но не исчезал. Макар, возвращаясь под утро, вновь наполнял собой дом.

Как-то нечетным вечером Анна согласилась выпить с актерами труппы вина. От папиросного дыма и песен воздух густел, перекачивался волнами. Анне чудилось, будто осенний туман просочился в комнату. И в пелене тело ее растворялось, утрачивало свой вес, как в воде. Движения так легки, что еще немного — и полетит. Хлопнула дверь. Ног не чуя, Анна сбегала вниз по ступенькам.

— Макар! — и на шею.

— Напилась до бесчувствия! — отругал.

Прислонилась к плечу виновато. Вздохнула. Раньше Анна всегда узнавала его по запаху. А в ту ночь — по шагам на лестнице.

Поднял на руки, отнес в спальню.

— Истина не в вине, — объяснил ей утром, прикладывая к голове мокрое полотенце — холодный компресс от головной боли. — Без чувства нет красоты. Без красоты не бывает любви. Только похмелье. А любовь — это когда человека принимаешь всего и таким, как есть, без остатка. Сейчас ты любишь мой голос, мой смех, мои губы и руки. Но и кусочек плоти, которого ты так боишься, тоже я. Если ты меня любишь, то должна полюбить меня всего целиком, понимаешь?

Полынный ветер... Сладкое ожидание, горькое возвращение. Сорок лет ждала Сольвейг в избушке на севере, пока Пер Гюнт искал счастья на краю света. Но куда бы ни шел человек, он идет на север. В мире не бывает странствий без возвращения. И странник становится странником после возвращения домой.

Рано или поздно каждый из нас осознает, что жизнь не бесконечна, как казалось в детстве, верилось в начале пути.

Как выбрать из множества дорог свою единственную дорогу?

Угадать. Найти.

Но угаданное ускользает от понимания, найденное покидает душу, и тогда предстоит новый мучительный поиск в хаосе событий, отчаянных надежд и запоздалых молитв.

Он был неприкаянным, растратил жизнь попусту. Она любила его. Он не нашел себя, она сохранила его в воспоминаниях. И вернула ему жизнь. Другую, наполненную ароматом странствий, полынным ветром. Она не гадала, не выбирала. Просто ждала. Единственного.

«Когда я правдой жил, в согласии с судьбой? Когда я сильным был? И где я был собой?» — спрашивает Пер Гюнт.

«Во мне одной», — отвечает Сольвейг.

«Эта история о поиске и возвращении, о самопожертвовании и раскаянии», — писали театральные критики.

Эта история о том, как человек обретает себя, поняли Макар и Анна. Потому что себя можно найти только в другом человеке. Любовь помогает обрести свою суть, свою целостность.

— Ты у меня первый, — призналась Анна.

— А ты у меня... всю жизнь искал... в других, — признался Макар. — Когда на тебе остановился, будто домой вернулся, и позабыл их всех. Верь мне и не ревнуй к прошлому. Оно у меня было бурным, но то не настоящая жизнь. Ты поделила ее на «до нашей премьеры» и «после». Раньше я играл чужих людей, теперь самого себя. Потому что с тобой и для тебя.

«Это живопись жестов и слов. Это живописание. Словно сама жизнь поднялась на сцену», — писали о новом спектакле труппы театральные критики.

— О пути и дорогах я напишу лучше Ибсена, — заявил режиссер бродяг еще в Камергерском.

Всякий творец кем-нибудь или чем-нибудь вдохновляется. Пьеса русской задумана, не плагиат. Не сказка, а повесть. И писал режиссер впервые. Ставя чужие пьесы, он всегда добавлял на сцену немного себя. А сейчас прорвало плотину из слов, тоски и молчания. К крещенским морозам оригинальная пьеса готова была.

Театр Немчинова согласился поставить. И это была уже Сцена, а не подмостки. Имена Макара и Анны напечатали на афише. Прибежал посыльный с мороза с охапкой листов. Передал Анне в руки. На афише снег таял. Руки дрожали. Анна не могла надышаться свежим запахом облаков.

Анита в главной роли... шагала по сцене в свете софитов, как по солнечной дорожке в реке. Светлые волосы, ореол кудрей, живая свеча горела в тишине предрассветной. Зрительный зал замирал. Голова кружилась. Солнце взойдет — и будет успех.

Люди занимаются искусством, чтобы быть замеченными. Услышанными. Кем? Вряд ли всем человечеством и даже не зрительным залом, не критиками и театрами.

Та, чью роль исполняла Анна, пришла на премьеру. Стареющая и одинокая, растратившая себя на балы и обеды. И рыдала, узнав себя в юной Аните, сказавшей страннику «Да!». Режиссер был отмщен, отмыты скитания труппы.

Как золото, мягкое расплавленное золото, Анна тихо ступала, затем плыла и ныряла, чувствуя, как тела их теряют форму и очертания, разделяющие их оболочки и расстояния. Жидкое чистое золото переливалось на солнце. И через край, и друг в друга переливались они с Макаром.

Зимнее солнце позолотило московские крыши. Это был их первый рассвет.

* * *

Может ли свет потускнеть внезапно? Может ли прямая дорога оборваться на перекрестке и, пересекая другую, утратить себя? А мы продолжаем идти по иному пути, не заметив подмены? Анне чудилось, ее будто проклинали, пока сладко дышала во сне.

Зима сыпала снегом искристым, белой тройкой неслась за мечтой. А весна захромала. Снег оседает на крышах и тротуарах бурыми шапками, слякотью хлопает под ногами. Скомканные афиши, рваные облака. Влажный, чем-то гнилым пахнущий ветер.

— Распутье в Москве, — жалуются прохожие, кутаясь в воротники.

Ей слышится слово «распутство». Десятки мохнатых лапок и глаз — и шепотки-шепотки-шепотки: «неназванная жена, бесталанная актриса, самозванка». Ползут по стенам, по подоконникам, как паутина. Утром Анна мокрой шваброй стирает их неустанные труды, а к ночи вновь все затянуто сетью в спальне.

Сон возвращается: они двое с Макаром на сцене, над головами кружится снежное конфетти золотым огнем. Анна руку протягивает, но Макар отворачивается. И внезапно прыгает в зрительный зал. И уходит меж темными рядами кресел. Реплика Анны повисает в воздухе без ответа. Анна тихо крадется к рампе, но та

раздвигается в стороны и растет, плещется необъятным огненным морем. И на сцене некому ее поддержать: не актеры выступают из-за кулис, а восковые куклы плавают в свете софитов, превращаясь в нечто оплывшее и бесформенное. Анна одна. Зал молчит. И молчание дышит зловеще. Ждет. Разоблачения. Слышится, как потрескивает свеча, капли воска дробно стучат... о подоконник. По утрам ее будит апрельская капель.

Общая кухня доходного дома тонет в белом дыму: кипятят и сушат белье. С трудом дышится сквозь пар и копоть. Анна стала бояться двусмысленных вздохов и хищных слов. Ее жизнь они высосали по капле — осталась одна оболочка от прежней златовласой принцессы сцены. Синие венки причудливой сеткой проступают сквозь неестественно бледную кожу. А на афишах перед театром краска выцвела, полиняла от талого воздуха.

Человеку легко внушить комплекс самозванца: ничто в мире не принадлежит ему по праву, кроме жизни. И ту — Бог дал, Бог взял. Аромат инопланетности обратится в беде запахом инаковости, люди чуют его, как хищники, особенно женщины. Черноволосые, невысокого роста, плотного телосложения. Плотской завистью полные. Много их одинаковых: в меблированных комнатах на Кузнецком мосту, в театре, на улицах, в кофейнях, на площадях. Дробятся, зеркалятся образы зла. Любопытные носы по ветру, толстопятые ноги месят закопченный снег, языки шепчут и шепчут вслед:

«Странный год — почти все тринадцатые числа совпадают либо с пятницей, либо с понедельником. Жди несчастий».

«На перекрестках и не такие судьбы ломаются. Посмотри, что ждет тебя».

Газету подкинули с некрологом о девушке из предместий Санкт-Петербурга. Молоденькая неопытная актриса — копия Анны в профиль. Заманил покровитель премьеру отпраздновать в спальню, а потом обвинил в шантаже. Позор, надругательство, впереди — сыскная полиция, высылка из Москвы. И девушка заколола себя кухонным ножом на паперти храма Христа Спасителя, написав в письме свою жалобу. На громкий процесс при закрытых дверях в качестве эксперта вызывали московскую приму, красавицу Волгину — свидетельствовать в суде о душевном состоянии артистки после успеха на сцене.

Душевное состояние Анны — туман, хаос, тревожный предутренний сон, мираж. Светопадение. Снеготаяние.

В тот же вечер подвернула лодыжку на сцене. Как пеленой затянуло зимний прозрачный свет. Голова закружилась, воздух стал липким, как туман, захлебнулась и заблудилась.

А на следующий день арестовали Макара: фразы, вызывающие взрывы хохота в зрительном зале, в кабаке звучат революцией. Обивали пороги участков всей трупой — без толку. Макар словно исчез во тьме тюремных застенков.

— Сбежал. Не нужна, — зашептали.

Анна ждала, что объявится. Афишу спектакля с их участием после провала скоро заклеили новой.

— Пора нам в дорогу, — вздыхал режиссер.

Анна ждала. В те апрельские хмурые дни поняла: время — от дьявола. В раю его нет, длится и длится один знаменательный день — как премьеры в театре. Недавно еще ей казалось, дорога в Москву привела, поселила их в доме, счастьем обжитом. Напрасно поверила! Солнце на земле, не успев взойти, начинает клониться к закату, после успеха неминуем провал. Упорное время, подобно Сизифу, дни ее, будто камни, катит с горы вниз и вниз. Светопадение. Снеготаяние. Терпеливый дьявол искру божью за искрой уничтожает. И на дне нет вестей.

— Не нужна никому. Ты одна на дороге. И она нескончаема.

Та весна вспоминается Анне кусками: разорванная афиша, низкого серого неба лоскуты в грязных лужах, слезы и трещинки вокруг глаз, и кожа на скулах вот-вот зашипит от соли.

Предал? Бросил одну в чаду, в нищете меблированных комнат?

Каждый миг бытия человек честен, искренен, чист. Но мгновения незаметно выстраиваются в череду деяний по принципу «Хочешь жить — умей вертеться». Лжецами нас делает время, в течение которого мир меняется, и правда превращается в ложь. Стрелки кружат по циферблату, время наступает и убивает нас внутри мгновений зыбкого счастья, тающей, как снег в руках, правды... Это дьявол заводит часы в наших домах и на башнях города, чтобы мир уничтожить.

Москва — город часов. И со всех семи холмов ее катятся под откос чьи-то некогда светлые дни, как тяжелые камни.

— Оступилась? Хромаешь? Падаешь вниз? Порча на тебе, дочка!

— Мне б вернуть все, что было недавно так ярко, светло, а потом растворилось в слезах...

Перекрестки московские, перепутья. Места гиблые, где охотятся ведьмы.

Она там и стояла — на перекрестке Камергерского и Тверской. Черноглазая, крюконосая птица. Ее отражением был иссиня-черный, Анне почудилось: трехсотлетний ворон в прихожей. Привела за собой в просторную, богато обставленную квартиру с высокими потолками, камином и гардинами, поглощающими весь солнечный свет, так что и дни подчинялись законам ночи. Современные ведьмы богаты, любят комфорт и роскошь. Дубовая мебель, череп, свечи, перевернутые кресты — и очередь страждущих на протертом диване в гостиной.

— Магия — древнейшая мудрость земли. Она старше религии, старше христианского бога. Старше всех богов, придуманных человечеством.

Первобытно жестокая вера в кровавое очищение.

Колокольчиком бронзовым прозвенела, внесли бьющихся петухов.

— ...Но я не волшебница, чтобы палочкой взмахнуть и вернуть тебе счастье. Чтобы порчу снять, ежедневно придется поливать тебя кровью, растирать мясом убитых птиц. Отравленное же мясо скормить бродячим псам. Двенадцать дней, от полнолуния до тех пор, пока луна не умрет...

Анна бежала от нее в свою комнатку на Кузнецком мосту через тысячу перекрестков. Проулки петляли, дорожки неизменно ее возвращали к черному дому, точно тот заколдован. Самой и не вырваться из западни, от птичьего глаза дурного не скрыться.

Анна кинулась к извозчику на обочине, как к спасителю. А карманы — пусты. Деньги, что ей выделили на покупку пропитания для всей труппы, остались в сумочке, в кошельке — на дубовом комоде в ведовской гостиной. Как смотреть в глаза режиссеру? Он последний ее поддерживал после исчезновения Макара. Ей доверяли! А теперь, выходит, распутница да еще и воровка?

Воистину бездонный город Москва — всех в себя втянет, поглотит. Можно сколько угодно падать, здесь для низости не существует предела.

Пробродила по мерзлым улицам до рассвета. Вернулась еле жива. К ночи — жар. И болезнь до отъезда не отпускала. Май за окнами, грозы и свежая зелень. Анна так и лежит на засаленной простыне, плохо взбитой подушке, отвернувшись к стене. От Макара вестей по-прежнему нет.

— Завтра в путь. Здесь мы себя исчерпали, — решение режиссера поддержала вся труппа.

— Выезжаем.

Изношенные костюмы к спектаклю, где блистали Макар и Анна, сожгли на пустыре.

— А что с Анной делать?

Тоже втихую оставили на постоялом дворе, где-то под Тверью, как старое платье. Утром проснулась — и след их простыл.

— Съехали еще затемно, — сказала хозяйка, по-зимнему зябко кутаясь в пуховую шаль.

Самый одинокий рассвет в жизни Анны, будто одна на земле, одна во всем мире.

Старушка ее пожалела, отпаивала куриным бульоном в ожидании почтовых повозок на Санкт-Петербург, видно, петухов она использовала по назначению. Сокрушалась хозяйка над судьбою Анны, давала советы; когда жар возвращался — молилась усердно перед иконой за ее выздоровление.

— Если отворачиваешься от Бога, девочка, он покидает тебя. Руку кормчего и защитника оттолкнула. Никто не направит по верному пути. Перед злом беззащитна. Безбожник один на дороге, и все что угодно может с ним приключиться. Молись, Анечка! И домой возвращайся!

В повозке почтовой Анна тряслась по дорогам с неделю. И все это время бредила. Перед глазами на грани яви и сна пролетали белые птицы, хрустальные города, причудливые золотые калитки в цветущие сады... Нереальная красота! Только мимо-мимо... Точно жизнь ее кончилась, не начавшись. Точно видела сон. А откроет глаза — и окажется снова дома. Иконы, статуэтки, канделябры, картины, мягкий диван, рояль в гостиной... И почти неземной покой.

* * *

Анна чувствовала себя чьим-то сном. Зыбким и мимолетным. Будто шагала по тонкому стеклу. Когда сновидец просыпался, стекло разбивалось — и жизнь обрывалась. Анна падала в звенящую ледяную пустоту. А когда засыпала, в ее жизни наступал новый период, никак не связанный с прошлым. Череда мимолетных снов.

Дома Анну не ждали, приняли нехотя. Июнь и июль канули в небытие. Бывают такие дни... Дни тоски и тревоги. Тревоги и тоски. Сквозь них продираешься, как сквозь колючие кусты, или пелену тумана, или густую вязкую среду болот. Точно постоянно вынуждена преодолевать непосильную силу трения. И хочется одного: зарыться с головой под теплое одеяло и заснуть сном без сновидений. То ли усталость накатывает, то ли жалость к самой себе. Дни напролет.

Анна спускалась из спальни к ужину в обманчивом блеске свечей и молчании.

— Татьяна помолвлена с порядочным человеком из богатой семьи... Что будет, когда всё откроется? Когда никакие пышные оборки не спрячут того, что у Анны под платьем? Позор! Позор для всей нашей семьи, нагуляла... — шептала украдкой мать.

Отец мрачно качал головой. Таня грызла пропитанный слезами отчаяния голубой кружевной платочек.

После ужина Анна уходила на веранду смотреть на звезды. Стоял август. Безлунные ночи, метеоритный дождь. Время персеид — падающих звезд, жертвующих собой ради людских желаний. И как в детстве она успевала загадывать? Наверное, желания были простыми: игрушка, конфета. А сейчас... Ей мнилось, что и они с Макаром такие же падающие звезды. Вспыхнули на театральной премьере, и никто о них больше не вспомнит. Он — в тюрьме, она — в огне безнадежных безлунных ночей, не сулящих ничего, кроме раскаяния. Как часто ей снился Макар на пороге в пыльных дорожных сапогах, с ветром в спутанных волосах! Рассмеется,

удерживая под уздцы гнедого коня, усадит ее в седло — и увезет далеко-далеко отсюда. Но то были лишь сны.

А наяву билась под сердцем новая жизнь. Дочери. Поначалу Анна воспринимала тошноту как последствие болезни и лихорадки. Но дикий красный шиповник уже третий раз не расцвел внутри, а на мясо за ужином взглянуть не могла. Такая примета: если женщина не выносит крови, будет дочь. Только мальчики кроважаны — родятся к войне.

Глядя в ночное звездное небо, Анна не видела будущего. Ни для себя, ни для дочки. Говорят, это правда: свет звезд так долго летит до земли, что каждую ночь мы смотрим в прошлое. Как бы там ни было, время шло. Облетали дни августа. И стареющая луна медленно поднималась над крышами, как ночной кошмар. В окне дома напротив по-прежнему не спала соседка. Год прошел, как целая жизнь. И Анна ее догнала на берегу предрассветного неба. Обе они теперь ждали того, что не сбудется или сбудется, но с кем-то другим. Покинутые, одинокие луны.

Август печален, он — вечер лета. Если май — раннее утро, полное надежд и кружения бала жизни, июнь — ясный полдень, июль — послеобеденный чай на веранде, то август — прогулка на закате, золотой свет и длинные тени деревьев, и воздух пропитан яблочным ароматом и ностальгией. Прошлое померещилось, но не сбылось. Анна думала, что и жизнь ее вступила в августовскую пору зрелости — без надежды, без ожидания. Впереди — осень, дожди, темнота...

Но ждала Татьяна. Белой фаты и безоблачного счастья. Белых коней, запряженных лихой шестеркой в карету, и колокольного звона златоглавых церквей на венчание. Да и матушка уж размечталась ходить по улицам без оглядки, ездить в открытом экипаже, как прежде бывало, на обеды, балы приглашения получать в белоснежных конвертах. Так что в один из особенно темных августовских вечеров пригласили они домой повитуху. Неприкаянных не испугаешь ссылкой. К тому же многих пользовала повитуха, и петербургские сплетни упрочили репутацию доброго ангела-избавителя от любовных грехов и бед.

Приоткрыли тихонько дверь в спальню Анны. Она не спала.

— Ты не бойся, все сделаю. Не шевелись, и больно не будет, — склонилась над ней черноволосая женщина. Нос с горбинкой и глаза — злые вороньи бусины. Ведьма! Точная копия той московской, что резала петухов и отравленное порчей мясо бросала собакам. А в руке что-то стальное блеснуло, то ли изогнутое лезвие ножа, то ли крюк.

Анна в припадке скатилась с кровати. Забилась в истерику на полу. «Неужели дитя она вытянет из меня, как оборвавшуюся нить? Скормит нежную плоть дочки бродячим псам в переулке?!»

Анна выла так, что в гостиной услышал отец — и нарушил обет не входить. Мужчинам не место при подобных событиях. Но не смог удержаться. Грех порождает грех — более тяжкий. И он бросился спасать дочь. Выгнал повитуху, запер мать в родительской спальне. Поднял Анну с пола, уложил на постель и до рассвета менял на горящем лбу у нее мокрые полотенца. С Анной снова стряслась нервная лихорадка. Он держал ее за руку, и Анне потом казалось, что без него эта ночь бы не кончилась никогда. Но забрезжил рассвет. И она, обессиленная, уснула.

Ранним утром отец собрал всех в гостиной для короткого разговора.

— Я уеду на несколько дней. Анну беречь, не тревожить. Чтобы поправилась к моему возвращению.

Куда отправляется — не сказал. А задавать вопросы главе семейства не принято, как и перечить или ослушаться. Мать стала ласковей с Анной, выхаживала, как могла. Таня книги читать ей по вечерам приходила, но все плакала и твердила:

— Ну, не я же, не я, не я...

— Нет, не ты виновата. Судьба такая моя, — Анна сестру утешала.

Отец вспомнил тихий северный край — Заонежье. И человека, способного стать Анне надежной опорой.

Онежское озеро — синее-синее, широкое и глубокое, как море. Берегов не видно. Шуки ловятся в рост человеческий, но хороша и плотва — наваристая, вкус ухи из нее не забудешь. Леса полны целебными травами и грибами, ягодами: черникой, брусникой и королевой болотных топей — морошкой. Растят рожь и ячмень, держат крупнорогатый скот. Благодатный край. Не голодают. Крестьянские дома вдоль берегов — просторные, на две половины. А дом кузнеца у самой воды — двухэтажный, с резным деревянным балконом, на зависть любому помещику.

У кузнеца Василия когда-то была большая семья, двенадцать человек: дед, отец, мать, братья и сестры, но подули ветра злосчастья, и всех схоронил. Так и жил на краю села у воды бобылем. Отцу Анны чинил повозку зимой, когда тот по делам министерским проезжал Олонецкую губернию. Зимний путь пролегал по льду Онежского озера. Так и сошлись они — и прониклись друг к другу доверием.

Ни один из соседей не сказал бы о Васе дурного слова. Он был мрачен и молчалив, но с открытой душой. Всем стремился помочь, часто в долг подковывал лошадей, телеги чинил и ваял кухонную утварь — без нее хозяйкам не обойтись. После смерти родных скот продал, но комнаты в доме не запер. И калитка всегда нараспашку была — зайди в горницу, пока в кузнице занят, хлебни свежего молока из кувшина, отломи кусок хлеба от каравая, что всегда оставлял неожиданным гостям на столе. Щедрый он человек, и надежный, и работник исправный, говорили соседи. И за что такие напасти?

Вася мальчиком был послушным, но быстро подрос — и влюбился. В Евдокию. Первой плясуньей была на селе, а пела — заслушаешься. Невзлюбила ее семья Василька: не пара вы с ней, не пара! Ты работаешь, она пляшет. И случилась беда. В ночь Ивана Купалы, когда догорели костры солнцеворота, выловили утопленницу из онежской волны. Яркие ленточки в светлых, вьющихся волосах, посиневшие губы.

«Дунечка! — звал Василий ее, трясся за плечо. — Дуняша... Евдокия!!!» Крик отчаяния долго бродил по рощам прибрежным несмолкающим эхом. А кузнец замолчал. И с тех пор перестал улыбаться. Но то было начало всех бед.

На Ильин день пророк камень холодный бросает в озера и реки, и никто уж не смеет в воду войти. В начале августа лето внезапно сменилось осенью, и задули с озера северные ветра. Злое поветрие. Точно проклятые и водой, и ветром, один за другим уходила его семья. Оспа выкосила в тот год половину деревни.

И сейчас, когда ставни на окнах начинали от ветра дрожать, Василий дом запирает, бросал работу в кузнице и шел на кладбище. Тоненькие березки сиротливо тянули ветви к могилам. Он сидел на грубо стесанной деревянной скамье молчаливый, как могильная плита. Вел немой разговор с родными. Самая содержательная на свете беседа: в молчании содержится все, что словами высказать невозможно.

Там отец Анны его и застал. В дом вернулись, поставили самовар — выпить чаю, чтобы согреться. Портрет Анны Василию показал. Тот рассматривал долго — да, была она чем-то похожа на его Евдокию.

— И он — лучший, с кем можно растить детей, — сказал по приезду отец.

Анна, поколебавшись с неделю, выбрала жизнь. Для себя и для дочери.

Когда время персеид и сенокоса кончилось, по первым осенним листьям свадьбу сыграли.

Анна думала прежде, все деревенские дома безнадежно дряхлы. Затхлый запах древесной трухи, гнилых тряпок, изношенной одежды, кислой капусты... В них не по годам быстрее стареешь. В доме Василия — пустота: ни следочка от прежних лет не осталось. Чистота, будто дом только что выстроен, и придется его обживать еще долгие годы. Вымел, вычистил кузнец все несчастья. Открыл и себе, и Анне дверь в новую жизнь.

Перед ней лежал первый снег, чистый лист, незнакомый медлительный сон. Вероятно, сновидец ее засыпал в тишине и покое.

Как же теперь далека Москва! Как звезда, на которую смотришь со дна глубокого озера.

* * *

Блудной дочерью Анну прозвали в деревне. Все ходила на берег постоять под сосной, взглядом впившись в старую деревянную пристань. Встречала и провожала осенью — корабли, зимой — сани.

«Смотрит в воду, как в прошлое», — говорили о ней. А вода убывает по осени и застывает зимой.

Говорили: «Не жди! Дала новую жизнь — и своей у тебя не осталось».

Анна и не заметила, как сама превратилась в декорацию к незабвенной московской премьере пьесы «Пер Гюнт». Бескрайнее ожидание Сольвейг. Рерих писал пейзажи к спектаклю в Карелии. Покатые камни «бараньи лбы», сосны кряжистые, низкие облака, свинцовые дали озер, одинокий дом у воды...

Есть на севере озеро боли: грешники замерзают на берегу, вылавливая свои отражения в волнах, и засыпают навеки. Промозглые сны — приют убогого чухонца при жизни и после смерти.

Анна с берега в воду кидала плоские камешки: местное развлечение «печь куличики». Камешек прыгал по поверхности раз, два, три, пять, иногда восемь раз и тонул, исчезая в волне.

Корабли покачивались на волнах, отчаливая от берега, и уверенно плыли в стылую туманную даль, откуда сама не вернулась. В детстве спрашивала отца: «Как кораблик удерживает равновесие на волнах?» — «Проседает под собственной тяжестью», — отвечал, непременно добавив мораль: — Человека достойным делает жизненный опыт».

Корабли несли вести из прошлой жизни — городские газеты. Анна читала заметки о поездах. «На высокой скорости пейзажи за окнами поезда размываются, а время как будто замедляет бег». Родители возили Таню в Париж на поезде прошлой зимой, когда Анна встречала с Макаром в Москве свой первый женский рассвет. Опыт боли и радости, любви и тоски. В юности год проживаешь как десятилетие, в зрелости десять лет пролетят, как один год. Дни похожи, как палые листья: в полете сияют золотом, а на земле все они бурого цвета. «В поездах, наверно, укачивает», — думала Анна.

Трудно жили в деревне, но дружно, душевно. Так резные ставни, коньки крыш, погосты, ветряные мельницы и коптящие смолокурни сливались с природой, ни осанкой, ни ярким штрихом синевы ее хмурой и молчания не нарушив. Осуждали Анну, но жалели и помогали, кто чем мог. Бабы шерсти ей надарили: зиму лютую ждали — садись, пряди и вяжи. Детские вещи, носки, платки, телогрейку Василию. Всё сгодится, главное — дотянуть до весны.

«Веретено — суть женщины, оплетаешь дитяtko в завязи, нитью судьбы своей оберегаешь». Так и сидели днями до сумерек, как театральные мойры. Анна

чувствовала, как крутится дочка внутри, а за окнами избы туманы, дожди и метели, сменяя друг друга, оборачивали землю защитным слоем времени. День за днем, круг за кругом времена года наматывались на земную ось, как пряжа безвременья. Крик младенца, свечи и Рождество, февральские ветры, мартовская капель, белые ночи, поляны иван-чая, шторма осени...

Колыбель качалась под балдахином из выцветшей кружевной юбки, как под куполом облаков. Малышка тихонько посапывала во сне. Анна столько скиталась и прожила нервных срывов, а дочка на удивление спокойной была, редко плакала, почти ничего не требовала.

К весне Анна вспомнила свое детское увлечение — вышивание. Здесь по льну вышивали красным крестом птиц и цветы. Символы жизни, весны, рассвета. Ожидание солнца, что проснется и будет дежурить все лето на горизонте, божества Сварога, окрашивающего северное уныние в сочные цвета краткой радости.

Птицы Анны пользовались успехом: было в них что-то от далекой, неведомой здесь и прекрасной мечты. Птицы счастья, бабы их называли. Анна обменивала полотенца-талисманы на муку, молоко и калитки.

Пели деревенские женщины: «С каждого порога — в Питер дорога»¹¹.

Спрашивали: «Как там, в столице?»

У многих мужья уезжали на зиму в Петербург на заработки и только к майскому севу домой по воде возвращались.

Анна вздыхала о Петербурге, о родителях, но перед глазами проплывали огни Москвы, фонари Камергерского, чад свечей в кабаках на Кузнецком мосту, рампы свет, поворот головы и улыбка Макара. Две заветные и несбывшиеся буквы «М» так похожи на арки покинутых ею замков и мостов над каналами Петербурга!

«Скоро приду», — сказал Макар и шагнул в темноту. Анна не поняла, что не вернется. Скоро, скорость... На высокой скорости время замирает, это жизнь пролетает мимо. А сама застываешь, прильнув к окну. И отдельно от мира не существуешь. Растворяешься в происходящем и себя уж не чувствуешь. Человек — это память и прошлое, а она отдалась на милость грядущему.

Качая малышку, сама становилась ею, ощущая себя в колыбели времени. Все ошибки, что дано совершить, совершила. Неужели дочь — оправдание ее грешного бытия? Когда ребенок, проснувшись, вдруг улыбнется, кажется, худшее позади.

Треснул лед по весне на озере. Василий не ждал гостей в кузнице по зимней дороге. Рядом с Анной сидел и нарезал тонкие полоски из бересты, натягивал на каркас. Легкая лодочка на двоих, полетит над волной, как чайка. «Сойдет лед, и по озеру вас покатаю», — обещал. Подходил к колыбели, улыбался дочке: «Дуняша!» И просил им сыграть на расстроенном пианино.

Но Анна начала забывать петербургских вальсов мелодии. Все чаще на слух подбирала мотивы деревенских песен, услышанных на берегу.

Ничего Василия с Анной не объединяло, кроме дочки, неродной, но подаренной на Рождество — так дарят любовь и надежду. И Василий ценил дар судьбы. Берег Анну и дочь, как берегут семью. Разное прошлое, общее будущее.

Он выглядел старше, суровее и мудрее, но на деле ровесником был, несчастья кого угодно состарят. Анна Василия уважала. Уважение возникает, когда о любви мечтать уже поздно. Была бы дочка здорова. В ней — счастье.

Оба они, потерявшие близких, понимали друг друга с полуслова. И молчали. Так молчат те, кто остался наедине в целом мире. Одиночество, беды сближают, переживших делают соучастниками. Кто ей ближе теперь? Тот, кто закопченными

¹¹ Старинная заонежская песня второй половины XVIII — начала XIX века. (М. И. Мильчик, «Заонежье. История и культура»).

в кузнице, точно выкованными из железа руками без страха прижимает к себе ее дочь? Или светлый призрак странника Пера Гюнта?

Анна медленно входила в новую жизнь, как в холодную воду, и Макар, некогда обучивший плавать, наконец отпустил.

Сон ей снился под осень. Багровое небо, поле битвы, по краю лес. Меж пулеметными очередями щебечут птицы. Ветер свищет, убитые смотрят в небо широко распахнутыми глазами. Птицы в гнездах кормят птенцов плотью погибших бойцов. Капли крови в уголках жадных клювиков. Голодный птенец — образ всего человечества. Не поест — не выживет. Войны кормят его, учат парить в небесах в поисках нового поля сражений.

Голос Макара во сне — как шепот листвы: «Арестантов первыми отправляют на фронт. Мы — пушечное мясо, необходимая жертва».

Ставни стукнулись в бревенчатую стену, последняя в этом году гроза. Надо проснуться, выбежать во двор — и закрыть окна. Ветер сорвал с вешалки полотенца, вышитые красными птицами счастья. Клавиши пианино вздрогнули и застонали. Шторма осени, дальше — метели опутают землю новыми нитями. Жизни или смерти? Судьбы.

К пристани причаливают запоздавшие корабли. Конец навигации. И сообщение с городами будет прервано до зимней дороги из крепкого льда. Хоть бы успеть попрощаться!

Газеты читали на берегу всей деревней. Заголовки кричали: «Война! В Российской империи объявлена мобилизация».

Анна присела без сил у воды, глядя в туманную даль. Меж небом и морем Онежским отсутствовала линия горизонта: одно плавно перетекало в другое, и казалось, свинцовая тишина окружала, давила со всех сторон.

Он вернулся не с моря, а с суши. Отчего-то в праздничной, льняной, вышитой красным крестом по вороту рубашке.

Василий обнял Анну за плечи и сказал нараспев: «Пойдем-ка домой!»

* * *

Когда пламя свечи догорает, свет становится красным. Детей из матери вынимают в крови. Новый век вошел в деревню с красной повязкой на рукаве. Агитировали за страну советов. Прокляли Бога, значит, убьют и царя. Хаос, бегство из Петербурга. Красный Марс над горизонтом. Пророчили лето засухи. Но карельская земля долго плакала, посевные работы начались лишь в начале июля. Поздно, голодная будет зима. Мужики из Питера домой без рубля возвращались. И молчали, как прибрежные камни.

Анна помнила слова Блока, как «разорванный ветром воздух», в богемных кругах Москвы его почитали, горячие речи цитировали.

«Жить стоит так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать неожиданного; верить не в „то, чего нет на свете“, а в „то, что должно быть“; пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она — прекрасна»¹².

Красота на Руси искони связана с кровью. Один корень у зла и мечты. Анна в церковь вернулась. Дочь крестила. Сына Васи носила под сердцем. Слушала колокольный звон над деревней. Карелия старообрядческой веры была. В деревянных

¹² А. Блок, «Интеллигенция и революция». 1918 год.

церквах на иконах не лазоревые небеса. Нет небес, все святые будто плачут по небу, а глаза и земля под ногами кровоточат.

«Страшное бесовское время, — шептали в деревне. — Небо плачет, земля красна, тяжела. Падают в землю тела мертвецов — и утягивают ее на дно времени».

Мухоморов в лесах уродилось не счесть. Листья осин и рябин покраснели до срока.

В золотые дни осени Василий отвел Анну к выжженной просеке. Под посевные поля выжигали леса, засевали озимую рожь. Чернела, зияла перекопанная земля. Ни иголочки, ни листочка. Но у самой воды молоденькая сосна зацепилась корнями за камень. И зеленела над бездной жертвенного угля, руки-ветки протягивая в заозерные дали.

«Вот и мы с тобой так же, переживем, — сказал Вася. — Заонежье — край света, здесь живут как у Бога за пазухой».

Анна давно забыла себя, в церкви оплакивала прошлые годы: первые шаги дочери, гулянье на Ильин день у погоста, рыбалку на лодочке из бересты, грибной дождь, запах свежескошенного сена, деревенские ярмарки, яркие ленты желаний на ветках березы. Опять не сбылось?

Василий работал в кузнице, как и прежде. И удары молотом по железу сводили Анну с ума. Искры сыпались во все стороны, будто ускорился вдвое. Не заходила — боялась обжечься.

Но однажды принес он причудливо заплетенный квадрат — выковал рамку под семейную фотографию. Ярмарочный фотограф бродил по домам в поисках заработка, запечатлел их троих на крыльце: Анна с дочерью на руках, Василий на ступенях чуть выше, справа за плечом — как ангел-хранитель. Три головы, пять ног, четыре руки... на троих — единое существо. Сын родится — и тоже волеется.

Фотографию Анна хранила за образами, а в рамке поставила рядом с иконой на полку. Василий молча кивнул. «Безбожники, — говорили о них в деревне. — Дай Бог им счастья!»

«Мир держится на наших плечах, на тех, кому нужно ковать, пахать и сеять, работать, любить и растить детей», — верил Василий. Иногда он кормил голубей и чаек на пристани вместе с Анной.

Будьте наивны, как дети, живите свободно, как птицы. Пойте песни, сжигайте палые листья.

Если каждому так важна его маленькая жизнь и жизнь близких, то почему мы ведем большие войны, как посторонние? Жертвуем жизнью... ради чего и кого? Молчали снега. Рухнула под тяжестью наледи крыша погоста.

Анна подливала в чай брусничный отвар — против простуды. Соседки смотрели в багровую гущу на дне чашек и, как цыганки, вещали:

«В Питере бродят по улицам бесы с окровавленными мордами, стреляют, режут всех, метель воет, сносит дома, голод у них — лошадей поедают, больных сапом, кошекдохлых, варят в котлах детей, красные флаги над городом реют».

«Гони их взащей», — посоветовал Вася.

Книгу достал из сундука. Пыль смахнул. Старообрядческие письма. Анна их прочитать не сумела, но знаки видеть могла: буквиц спирали, кресты, убегающие в бесконечность, квадраты снежинок, похожие на календари без дат. Василий пальцем ее по знакам водил и приговаривал: «Жизнь не загубишь, жизнь вечна». Анна оглянулась на календарь на стене: в цифре 1918 восьмерка напомнила ей колесо солнцеворота.

Горький привкус зимы, тревога весны. Муж, дочь, нерожденный сын. Надо жить, скоро солнце взойдет над их северным краем и развеет страшные сны ожидания.

Первой рынды звон услышала в доме. Вестники корабли!

Все эти годы Анна вела дневник, а теперь на страницы писем разорвала тетрадь, наспех надписывая обращения, адреса и раскладывая по конвертам. И фотографию, не колеблясь, вынула из рамки. Запечатала всё, будто клад, перевязала тесьмой, что хранила себе на оборки нарядного платья.

«Привезите мне добрые вести!» — попросила отчаливших.

Догадывалась ли она, что письма вернутся нераспечатанными?

Анна смотрела на прибрежные волны в лучах заката. Загадку солнцеворота нам постичь не дано. Жизнь — птица счастья, выкидывает птенцов из гнезда, и кому-то из них суждено взлететь, а кому-то разбиться. А судьба, как и птица, не различает птенцов, удары ее идеальную форму крыла поколений вытачивают, как волны безликие прибрежные камни. И нужно быть благодарной за то, что так много ударов дано.

Без боли не придет понимания счастья. О великой радости способен поведать раненый на берегу. Небо, волна, чистый озерный песок, пахнет илом и сосновыми иглами. Спасибо, Господи, за красоту! За жизнь и судьбу. За любовь. За возможность берега, где навсегда осталась.

Анна вспомнила, как когда-то давно расстегнула корсет и сбросила прошлое, как старомодное белое платье. Она в историю, как в воду, вошла — чтобы выжить.

Красное солнце стояло над озером. Красная песня звучала вдали над полями. Деревенские начали сеять.